

Аптекарь Янсон в 1948 году построил дачу, чтобы сдавать городским на лето. И себе сделал пристройку в две комнаты, над курятником, с видом на парник.

Хотел жить долго и счастливо, кушать свежие яички и огурчики, понемножку торговать настойкой валерианы, которую любовно выращивал собственными руками; в июне собирался встречать ораву съемщиков с баулами, детьми и неуправляемой собакой. Господь судил иначе, и Янсон умер, и мы, съемщики, купили дачу у его вдовы.

Все это было бесконечно давно, и Янсона я никогда не видела, и вдову не помню. Если разложить фотографии веером, по годам и сезонам, то видно, как бешено множится и растет чингисханова орда моих сестер и братьев, как дряхлеет собака, как разрушается и зарастает лебедой уютное янсоновское хозяйство. Где был насест, там семь пар лыж и санки без счету, а на месте парника валяемся и загораем молодые мы, в белых атласных лифчиках хрущевского пошива, в ничему не соответствующих цветастых трусах.

В 1968 году мы залезли на чердак. Там еще лежало сено, накошенное Янсоном за год до смерти Сталина. Там стоял большой-большой сундук, наполненный до краев маленькими-маленькими пробочками, которыми Янсон собирался затыкать маленькие-маленькие скляночки. Там был и другой сундук, кованный, страшно сухой внутри на ощупь; в нем чудно сохранились огромные легкие валенки траурного цвета, числом шесть. Под валенками лежали, аккуратно убранные в стопочку, темные платья на мелкую, как птичка, женщину; под платьями — уже распадающиеся на кварки серо-желтые кружева — их можно было растереть пальцами и просыпать на дно сундука, туда, где лежала, растертая и просыпанная временем, пыль неопознаваемого, неизвестно чьего, какого-то чего-то.

В 1980 году, в припадке разведения клубники, мы перекопали бурьян в том углу сада, где, по смутным воспоминаниям старожилов, некогда цвел и плодоносил аптекарский эдем. На некоей глубине мы откопали некий большой железный предмет, испугались, выслушали заверения тех же старожилов, что это не снаряд, потому что во время войны сюда ничего не долетало, опять испугались и зарыли это, притоптав. Когда перекладывали печку, ничего янсоновского не нашли. Когда меняли печную трубу — тоже. Когда кухня провалилась в подпол, а рукомойник в курятник, — очень надеялись, но напрасно. Когда заделывали огромную дыру, оставленную пролетариатом между совершенно новой трубой и абсолютно новой печью, — нашли брюки и обрадовались, но это были наши же собственные брюки, потерянные так давно, что их не сразу опознали. Янсон рассеялся, распался, ушел в землю, его мир был уже давно и плотно завален мусором четырех поколений мира нашего. И уже подросли такие возмутительно новые дети, которые не помнили украденной любителями цветных металлов таблички «М. А. Янсонъ», не кидались друг в друга сотнями маленьких-маленьких пробочек, не находили в зарослях крапивы белый зонтик заблудившейся, ушедшей куда глаза глядят валерианы.

Летом прошлого, 1997 года, обсчитавшись сдуру и решив, что даче нашей исполняется полвека, мы решили как-нибудь отпраздновать это событие и купили белые обои с зелеными веночками. Пусть, подумали мы, в том закуте, где отваливается от стены рукомойник, где на полке стоят банки засохшей олифы и коробки со слипшимися гвоздями, — пусть там будет Версаль. А чтобы дворцовая атмосфера была совсем уж роскошной, мы старые обои отдерем до голой фанеры и наклеим наш помпадур на чистое. Евроремонт так евроремонт.

Под белыми в зеленую шашечку оказались белые в синюю рябу, под рябой — серовато-весенние с плакучими березовыми сережками, под ними лиловые с выпуклыми белыми розами, под лиловыми — коричнево-красные, густо записанные кленовыми листьями, под кленами открылись газеты — освобождены Орел и Белгород, праздничный салют; под салютом — «народ требует казни кровавых зиновьевско-бухаринских собак»; под собаками — траурная очередь к Ильичу. Из-под Ильича пристально и тревожно, будто и не мазали их крахмальным клейстером, глянули на нас бравые господа офицеры, препоясанные, густо усатые, групповой снимок в Галиции. И уже напоследок, из-под этой братской могилы, из-под могил, могил, могил и могил, на самом дне — крем «Усатин» (а как же!) и: «Все высшее общество Америки употребляет только чай Кокіо букет ландыша. Склады чаев Дубинина, Москва Петровка 51», и: «Отчего я так красива и молода? — Ионачивара Масакадо, выдается и высылается бесплатно», и: «Покупая гильзы, не говорите: «Дайте мне коробку хороших гильз», а скажите: ДАЙТЕ ГИЛЬЗЫ КАТЫКА, лишь тогда вы можете быть уверены, что получили гильзы, которые не рвутся, не мнутся, тонки и гигиеничны. ДА, ГИЛЬЗЫ ТОЛЬКО КАТЫКА».

Начав рвать и мять, мы все рвали и мяти слои времени, ломкие, как старые проклеенные газеты; рвали газеты, ломкие, как слои времени; начав рвать, мы уже не могли остановиться, — из-под старой бумаги, из-под наслоений и вздутий сыпалась топкая древесная труха, мусорок, оставшийся после древоточца, после мыши, после Янсона, после короедов, после мучного червя с семейством, радостно попиравших сухим крахмалом и оставивших после себя микрон воздушной прокладки между напластованиями истории, между тектоническими плитами чьих-то горестей.

Литература — это всего лишь буквы на бумаге, — говорят нам сегодня. Не-а. Не «всего лишь». В этой рукомойне, пахнущей мылом и подгнившими досками, была спальня аптекаря Янсона; намереваясь жить скромно, долго и счастливо, он любовно оклеивал ее сбереженными с детства газетами, — стопочка к стопочке,

пробочка к пробочке, ничего не надо выбрасывать, а сверху обои, — аккуратный, должно быть, и чистый, обрусевший швед, он уютно и любовно устроил себе спальню, — частный уголок, толстая дверь с тяжелым шпингалетом, под полом — свои, чистые куры. В смежной каморке, с балконом, с окном на закат, на черные карельские ели, — столовая-гостиная: можно кушать кофе с цикорием, можно, сидя в жестком лютеранском кресле, думать о прошлом, о будущем, о том, как уцелел, не стигнул, как растит лекарственные травы, о том, как пройдет по первому снегу в легких черных валенках. Вот достанет из сундука — и пройдет, оставит следы.

Мы сорвали всю бумагу, всю подчистую, мы прошлись наждачной шкуркой по босым, оголившимся доскам; азарт очищения охватил все четыре поколения, мы терли и терли. Мы правда старались: мы не жалели ногтей и скребков; местный магазин, пребывавший тридцать лет в коматозном оцепенении и никогда не предлагавший покупателям ничего, кроме резиновых сапог не нашего размера и карамели «подушечка с повидлом», в новую эпоху ожил и завалил полки продукцией «Джонсон и Джонсон» Джонсоны против Янсона; а что же может поделывать один Янсон против двух Джонсонов? Какие-то быстродействующие очистители и уничтожители — аэрозоли для стирания памяти, кислоты для выведения прошлого.

Мы выскребли все: и белые по лиловому розы, и кровавых собак, и клубы морозного дыхания в очереди к сыну инспектора народных училищ, и ряд завтрашних инвалидов и смертников, доверчиво, за неделю до увечья или смерти накупивших круглых жестяных банок шарлатанского «Усатина» в расчете на любовь и счастье, подобно аптекарю Янсону, запасшему много валенок для будущих, уже не понадобится ног.

Мы протерли доски добела, до проступившего рисунка годовых колец на скобленном дереве. Мы дали стенам просохнуть. Потом мы взяли большую кисть, обмакнули ее в синтетический, очень цепкий, с гарантией, клей и как следует, без пузырей — но инструкции, — промазали клеем изнаночную сторону версальских обоев. Потом мы сложили обойные полосы пополам — клей на клей, — отнесли в спальню аптекаря Янсона, где, опять же по инструкции, снова развернули полосы во всю длину и, крепко нажимая «старой ветошью» (неузнаваемой трикотажной тряпкой, некогда бывшей неизвестно чем), притерли свежие, белые в веночках обои к свежей, еще пахнущей Джонсоном и Джонсоном — обоими Джонсонами — стене. Клей взялся, европеец не подвел, обои прилипли как страстный поцелуй, без люфта.

И вообще лето под Питером было хорошее, сухое, жаркое. Все быстро сохло. Наши обои, например, наутро уже выглядели так, будто они тут всегда и были: без темных пятен, без ничего такого. Оказалось, что это не очень сложно — обдирать и клеить.

Эффект, конечно, вышел не совсем дворцовый и, честно говоря, совсем не европейский, — ну, промахнулись, с кем не бывает. Не то, чтобы не доставало артистизма, а — прямо скажем — глаза бы наши не глядели, — чего уж там — получился сарай в цветочках. Собачья будка. Приют убогого, слепорожденного чухонца. В куске все смотрится не совсем так, как на стене, верно? Вот если купить совсем, совсем белые обои — без рисунка, — а сейчас ведь все можно достать, — вот тогда будет очень хорошо. И этот наш ошибочный, виньеточный, совершенно случайный и непредусмотренный узор и позор укроется под белым, ровным, аристократически-безразличным, демократически-нейтральным, ко всему равнодушным, спокойным, приветливым, никого не раздражающим слоем благородной, буддийской простоты.

И в городе, у себя дома, каждый сделает то же самое. Белое — это просто и благородно. Ничего лишнего. Белые стены. Белые обои. А лучше — просто малярная кисть или валик, вододисперсионная краска или штукатурка, — шарах — и чисто. Все сейчас так делают. — И я так сделаю. — И я.

И я тоже. Мне нравится белое! Начать жизнь сначала! Не сдаваться! На цыпочках, осторожно, чтобы не побеспокоить, чуть заметной тенью, в шерстяных носках по новенькому линолеуму, с валенками подмышкой, с букетом звездчатой валерианы в руках, с пробочками и скляночками в оттопыренных карманах, с усатыми и бритыми инвалидами всех времен в испуганной памяти, выходить вонь Михаил Августович Янсонь, шведь, лютеранинь, мещанинь, гражданинь. аптекарь — трудолюбивый садовник, запасливый и аккуратный человек, без лица, без наследников, без примет, — Михаил Августович, муж маленькой жены, житель маленьких комнат, чуточку смелый, но очень скрытный хранитель запрещенного прошлого, свидетель истории, добела ободранной нами со стен его бывшей каморки. Михаил Августович, про которого я ничего не знаю и теперь уже никогда, никогда не узнаю, — кроме того, что он закопал непонятное железное в саду, спрятал ненужное тряпичное на чердаке, укрыл недопустимое, невозвратимое под обоями спальни. Своими руками я содрала последние следы Михаила Августовича со стен, за которые он цеплялся полвека, — и, ненужный больше ни одному человеку на этом новом, отбеленном, отстиранном, продезинфицированном свете, он ушел, наверное, навсегда и непоправимо, в травы и листья, в хлорофилл, в корни сорняков, в немую, вечно шумящую на ветру, безымянную и блаженную, господню фармакопею.

Ноябрь 1997

Телега жизни

Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел!

Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней
И косогоры и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!

Катит по-прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней
И дремля едем до ночлега,
А время гонит лошадей.

Аптекарь Янсон в 1948 году построил дачу, чтобы сдавать городским на лето. И себе сделал пристройку в две комнаты, над курятником, с видом на парник.

Хотел жить **долго** и счастливо, кушать свежие яички и огурчики, понемножку торговать настойкой валерианы, которую любовно выращивал собственными руками; **в июне** собирался встречать ораву съемщиков с баулами, детьми и неуправляемой собакой. Господь судил иначе, и Янсон умер, и мы, съемщики, купили дачу у его вдовы.

Все это было **бесконечно давно**, и Янсона я никогда не видела, и вдову не помню. Если разложить фотографии веером, по годам и сезонам, то видно, как бешено множится и растет чингисханова орда моих сестер и братьев, как дряхлеет собака, как разрушается и зарастает лебедой уютное янсоновское хозяйство. Где был насест, там семь пар лыж и санки без счета, а на месте парника валяемся и загораем молодые мы, в белых атласных лифчиках хрущевского пошива, в ничему не соответствующих цветастых трусах.

В 1968 году мы залезли на чердак. Там еще лежало сено, накошенное Янсоном **за год до смерти** Сталина. Там стоял большой-большой сундук, наполненный до краев маленькими-маленькими пробочками, которыми Янсон собирался затыкать маленькие-маленькие скляночки. Там был и другой сундук, кованный, страшно сухой внутри на ощупь; в нем чудно сохранились огромные легкие валенки траурного цвета, числом шесть. Под валенками лежали, аккуратно убранные в стопочку, темные платья на мелкую, как птичка, женщину; под платьями — уже распадающиеся на кварки серо-желтые кружева — их можно было растереть пальцами и просыпать на дно сундука, туда, где лежала, растертая и просыпанная временем, пыль неопознаваемого, неизвестно чьего, какого-то чего-то.

В 1980 году, в припадке разведения клубники, мы перекопали бурьян в том углу сада, где, по смутным воспоминаниям старожиллов, некогда цвел и плодоносил аптекарский эдем. На некоей глубине мы откопали некий большой железный предмет, испугались, выслушали заверения тех же старожиллов, что это не снаряд, потому что во время войны сюда ничего не долетало, опять испугались и зарыли это, притоптав. Когда перекладывали печку, ничего янсоновского не нашли. Когда меняли печную трубу — тоже. Когда кухня провалилась в подпол, а рукомойник в курятник, — очень надеялись, но напрасно. Когда заделывали огромную дыру, оставленную пролетариатом между совершенно новой трубой и абсолютно новой печью, — нашли брюки и обрадовались, но это были наши же собственные брюки, потерянные так давно, что их не сразу опознали. Янсон рассеялся, распался, ушел в землю, его мир был **уже давно** и плотно завален мусором **четырёх поколений** мира нашего. И уже подросли такие возмутительно новые дети, которые не помнили украденной любителями цветных металлов таблички «М. А. Янсонъ», не кидались друг в друга сотнями маленьких-маленьких пробочек, не находили в зарослях крапивы белый зонтик заблудившейся, ушедшей куда глаза глядят валерианы.

Летом прошлого, **1997** года, обсчитавшись сдуру и решив, что даче нашей **исполняется полвека**, мы решили как-нибудь отпраздновать это событие и купили белые обои с зелеными веночками. Пусть, подумали мы, в том закуте, где отваливается от стены рукомойник, где на полке стоят банки засохшей олифы и коробки со слипшимися гвоздями, — пусть там будет Версаль. А чтобы дворцовая атмосфера была совсем уж роскошной, мы старые обои отдерем до голой фанеры и наклеим наш помпадур на чистое. Евроремонт так евроремонт.

Под белыми в зеленую шашечку оказались белые в синюю рябу, под рябой — серовато-весенние с плакучими березовыми сережками, под ними лиловые с выпуклыми белыми розами, под лиловыми — коричнево-красные, густо записанные кленовыми листьями, под кленами открылись газеты — освобождены Орел и Белгород, праздничный салют; под салютом — «народ требует казни кровавых зиновьевско-бухаринских собак»; под собаками — траурная очередь к Ильичу. Из-под Ильича пристально и тревожно, будто и не мазали их крахмальным клейстером, глянули на нас бравые господа офицеры, препоясанные, густо усатые, групповой снимок в Галиции. И уже напоследок, из-под этой братской могилы, из-под могил, могил, могил и могил, на самом дне — крем «Усатин» (а как же!) и: «Все высшее общество Америки употребляет только чай Кокіо букет ландыша. Склады чаев Дубинина, Москва Петровка 51», и: «Отчего я так красива и молода? — Ионачивара Масакадо, выдается и высылается бесплатно», и: «Покупая гильзы, не говорите: «Дайте мне коробку хороших гильз», а скажите: **ДАЙТЕ ГИЛЬЗЫ КАТЫКА**, лишь тогда вы можете быть уверены, что получили гильзы, которые не рвутся, не мнутся, тонки и гигиеничны. **ДА, ГИЛЬЗЫ ТОЛЬКО КАТЫКА**».

Начав рвать и мять, мы все рвали и мяли **слои времени**, ломкие, как старые проклеенные газеты; рвали газеты, ломкие, **как слои времени**; начав рвать, мы уже не могли остановиться, —из-под старой бумаги, из-под наслоений и вздутий сыпалась топкая древесная труха, мусорок, оставшийся после древоточца, после мыши, после Янсона, после короедов, после мучного червя с семейством, радостно попиравших сухим крахмалом и оставивших после себя микрон воздушной прокладки между напластованиями истории, между тектоническими плитами чьих-то горестей.

Литература — это всего лишь буквы на бумаге, — говорят нам **сегодня**. Не-а. Не «всего лишь». В этой рукомойне, пахнущей мылом и подгнившими досками, была спальня аптекаря Янсона; намереваясь жить скромно, долго и счастливо, он любовно оклеивал ее сбереженными с детства газетами, — стопочка к стопочке,

пробочка к пробочке, ничего не надо выбрасывать, а сверху обои, — аккуратный, должно быть, и чистый, обрусевший швед, он уютно и любовно устроил себе спальню, — частный уголок, толстая дверь с тяжелым шпингалетом, под полом — свои, чистые куры. В смежной каморке, с балконом, с окном на закат, на черные карельские ели, — столовая-гостиная: можно кушать кофе с цикорием, можно, сидя в жестком лютеранском кресле, думать о прошлом, о будущем, о том, как уцелел, не сгинул, как растит лекарственные травы, о том, как пройдет по первому снегу в легких черных валенках. Вот достанет из сундука — и пройдет, оставит следы.

Мы сорвали всю бумагу, всю подчистую, мы прошлись наждачной шкуркой по босым, оголившимся доскам; азарт очищения охватил **все четыре поколения**, мы терли и терли. Мы правда старались: мы не жалели ногтей и скребков; местный магазин, **пребывавший тридцать** лет в коматозном оцепенении и никогда не предлагавший покупателям ничего, кроме резиновых сапог не нашего размера и карамели «подушечка с повидлом», в новую эпоху ожил и завалил полки продукцией «Джонсон и Джонсон» Джонсоны против Янсона; а что же может поделат один Янсон против двух Джонсонов? Какие-то **быстродействующие** очистители и уничтожители — аэрозоли для стирания памяти, кислоты для выведения **прошлого**.

Мы выскребли все: и белые по лиловому розы, и кровавых собак, и клубы морозного дыхания в очереди к сыну инспектора народных училищ, и ряд завтрашних инвалидов и смертников, доверчиво, за неделю до увечья или смерти накупивших круглых жестяных банок шарлатанского «Усатина» в расчете на любовь и счастье, подобно аптекарю Янсону, запасшему много валенок для **будущих**, уже не понадобится ног.

Мы протерли доски добела, до проступившего рисунка **годовых колец на скобленном дереве**. Мы дали стенам просохнуть. Потом мы взяли большую кисть, обмакнули ее в синтетический, очень цепкий, с гарантией, клей и как следует, без пузырей — но инструкции, — промазали клеем изнаночную сторону версальских обоев. Потом мы сложили обойные полосы пополам — клей на клей, — отнесли в спальню аптекаря Янсона, где, опять же по инструкции, снова развернули полосы во всю длину и, крепко нажимая «старой ветошью» (неузнаваемой трикотажной тряпкой, некогда бывшей неизвестно чем), притерли свежие, белые в веночках обои к свежей, еще пахнущей Джонсоном и Джонсоном — обоими Джонсонами — стене. Клей взялся, европеец не подвел, обои прилипли как страстный поцелуй, без люфта.

И вообще **лето** под Питером было хорошее, сухое, жаркое. Все быстро сохло. Наши обои, например, наутро уже выглядели так, будто они тут всегда и были: без темных пятен, без ничего такого. Оказалось, что это не очень сложно — обдирать и клеить.

Эффект, конечно, вышел не совсем дворцовый и, честно говоря, совсем не европейский, — ну, промахнулись, с кем не бывает. Не то, чтобы не доставало артистизма, а — прямо скажем — глаза бы наши не глядели, — чего уж там — получился сарай в цветочках. Собачья будка. **Приют убогого, слепорожденного чухонца**. В куске все смотрится не совсем так, как на стене, верно? Вот если купить совсем, совсем белые обои — без рисунка, — а сейчас ведь все можно достать, — вот тогда будет очень хорошо. И этот наш ошибочный, виньеточный, совершенно случайный и непредусмотренный узор и позор укроется под белым, ровным, аристократически-безразличным, демократически-нейтральным, ко всему равнодушным, спокойным, приветливым, никого не раздражающим слоем благородной, буддийской простоты.

И в городе, у себя дома, каждый сделает то же самое. Белое — это просто и благородно. Ничего лишнего. Белые стены. Белые обои. А лучше — просто малярная кисть или валик, вододисперсионная краска или штукатурка, — шарах — и чисто. Все сейчас так делают. — И я так сделаю. — И я.

И я тоже. Мне нравится белое! Начать жизнь сначала! Не сдаваться! На цыпочках, осторожно, чтобы не побеспокоить, чуть заметной тенью, в шерстяных носках по новенькому линолеуму, с валенками подмышкой, с букетом звездчатой валерианы в руках, с пробочками и скляночками в оттопыренных карманах, с усатыми и бритыми инвалидами всех времен в испуганной памяти, выходить вонь Михаил Августович Янсон, швед, лютеранин, мещанин, гражданин. аптекарь — трудолюбивый садовник, запасливый и аккуратный человек, без лица, без наследников, без примет, — Михаил Августович, муж маленькой жены, житель маленьких комнат, чуточку смелый, но очень скрытный хранитель запрещенного прошлого, свидетель истории, добела ободранной нами со стен его бывшей каморки. Михаил Августович, про которого я ничего не знаю и теперь уже никогда, никогда не узнаю, — кроме того, что он закопал непонятное железное в саду, спрятал ненужное тряпичное на чердаке, укрыл недопустимое, невозвратимое под обоями спальни. Своими руками я содрала последние следы Михаила Августовича со стен, за которые он **цеплялся полвека**, — и, ненужный больше ни одному человеку на этом новом, отбеленном, отстиранном, продезинфицированном свете, он ушел, наверное, навсегда и непоправимо, в травы и листья, в хлорофилл, в корни сорняков, в немую, вечно шумящую на ветру, безымянную и блаженную, господню фармакопею.

Ноябрь 1997

Татьяна Толстая

Легкие миры 2012

Мы обо всем договорились и даже немножко подружились – Барбара уже не притворялась, а ходила по дому ссутулившись, с заплаканным лицом, с красными глазами, повесив руки плетьюми, и обреченно ждала, когда наступит конец. Дэвид уже показал мне все свои мужские сокровища, хранимые в гараже: рубанки, стамески, шуруповерты и дрели; мужчины всегда показывают женщинам эти интересные инструменты, и женщины всегда делают вид, что инструменты эти просто чудо как хороши. Он даже снял со стены салазки дедушки – дедушка катался на них с горки в двадцатых годах, румяный, щекастый, пятилетний дедушка; а когда он пошел в школу – а это полторы мили по холодному снегу, – его мама вставала затемно и пекла для него две картофелины, чтобы он держал их в карманах и грел руки на долгом своем детском пути. И Дэвид подарил мне эти салазки, и я не знала, что с ними делать. Еще он подарил мне ненужные ему теперь планы перестройки дома, альбом с кальками, демонстрирующими маниловские мечты: вот дом стоит руина руиной; вот он обретает крылья справа и слева; вот над ним взлетает мезонин с полукруглым окном; вот его оборками опоясывают террасы, – короче, Дэвид отравил меня, заманил, завлек; продал мне свои мечты, сны, воздушные корабли без пассажиров и с незримым кормчим.

Белые стены 1997

В 1968 году мы залезли на чердак. Там еще лежало сено, накошенное Янсоном за год до смерти Сталина. Там стоял большой-большой сундук, наполненный до краев маленькими-маленькими пробочками, которыми Янсон собирался затыкать маленькие-маленькие скляночки. Там был и другой сундук, кованый, страшно сухой внутри на ощупь; в нем чудно сохранились огромные легкие валенки траурного цвета, числом шесть. Под валенками лежали, аккуратно убранные в стопочку, темные платья на мелкую, как птичка, женщину; под платьями — уже распадающиеся на кварки серо-желтые кружева — их можно было растереть пальцами и просыпать на дно сундука, туда, где лежала, растертая и просыпанная временем, пыль неопознаваемого, неизвестно чьего, какого-то чего-то.

Мифическая фигура Януса²³ с его одним лицом, повернутым в прошлое и другим - в будущее, является еще одним символом времени. Одним из наиболее интересных примеров включения этого образа в композиционно-семантический строй произведений западноевропейской живописи 16-17 веков можно считать произведение Н. Пуссена «Танец жизни под музыку Времени». Здесь художник изобразил многоаспектный символический образ времени, несмотря на то, что все главные фигуры-образы имеют аллегорическую природу²⁴. В картине воплощается идея линейного времени; драматизм достигается здесь передачей разных обусловленных им состояний: от осознания его необратимости до радости бытия, связанной, с архетипом вечного возвращения. Танцующие девушки исполняют карнавальный танец, выражающий «концепцию кругового космического времени»²⁵, на дальнем плане - колесница Аполлона, заключенного в зодиакальный круг. Казалось бы, время неумолимо, но эта неумолимость сглаживается самой природой, сущность которой заключена в постоянном повторении самой себя изо дня в день, из года в год.